

МИХАСЬ ЛЫНЬКОВ,

народный писатель Белоруссии

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Э то была тихая, неприметная улочка на окраине города. Здесь редко можно было увидеть прохожего, не слышно было грохота ломовиков, который бывает на мощеных улицах. Сыпучий песок поглощал все звуки. И только тротуар — деревянный, выщербленный — иногда нарушал застоявшуюся тишину, когда его касалось какое-нибудь живое существо. За тротуаром, за дощатым забором тянулся с одной стороны улицы довольно большой сад, в котором приютилось несколько добротных деревянных строений. В них размещалась в ту давнюю пору школа Коммутерна при ЦК КП(б)Б. В школе учились молодые подпольщики из бывшей Западной Белоруссии. Здесь в 1934 году я и встретился впервые с Сергеем Осиповичем Притыцким. На протяжении двух лет — 1934-го и 1935-го — я очень часто — по несколько раз в неделю — встречался с ним.

Наше знакомство было несколько необычным. Я не знал, что его имя Сергей. Не знал, как зовут его отца. Наконец не знал и фамилии. Я знал только одну из его кличек. Товарищи называли его Янкой. В течение двух лет и я называл его Янкой.

Где, в каком селении он родился, из какой семьи происходил, — все это было мне неизвестно. Этим я и не интересовался, а правильнее будет сказать — не должен был интересоваться. Единственное, что я хорошо знал, — он оттуда, из-за границы, из Западной Белоруссии, или, как называли ее польские паны, из Кресов Восточных.

Там трудового белоруса, как и трудящихся любой другой нации, если и считали за людей, то только за людей второго сорта, достойных разве что самой тяжелой, самой черной работы. Известно, что и польский трудящийся также не пользовался особенной лаской и сочувствием со стороны польских панов. И он жил в условиях жестокой эксплуатации и социального неравенства. Но он не знал национального гнета. Это было единственное, что отличало его от трудящихся других на-

циональностей, которые жили под двойным гнетом: социальным и национальным.

Я знал не только Янку, но и многочисленных его товарищей и соратников. Среди них были белорусы, русские, поляки, евреи и литовцы. Это была дружная, товарищеская семья храбрых и мужественных людей, объединенных высокой революционной идеей. Янка и его товарищи были молодыми. Все они были почти одного возраста. Когда я познакомился с Янкой, ему было чуть больше двадцати лет. Несмотря на такой молодой возраст, он имел уже некоторый опыт борьбы с полуфашистским строем тогдашней Польши.

Что я мог сказать о Янке после моего первого знакомства с ним? Это был молодой коммунист-революционер. Я уже имел некоторое представление о его характере, его наклонностях, настроении, его заветных мечтах и стремлениях. Запомнился его внешний облик: Янка был высокий, с мягкими чертами выразительного лица, с задумчивым взглядом серых глаз. Товарищи относились к нему с явным уважением, как к человеку, который, возможно, имел большой опыт революционной работы, человеку, чьи качества хотя и не бросаются иногда в глаза, но невольно привлекают внимание людей, сближают их, настраивают определенным образом, мобилизуют в одном направлении их мысли и чувства. Именно такими качествами и обладал Янка. Это и притягивало к нему товарищей, близких, объединяло их, наполняло сердца радостным предчувствием того светлого будущего, борьбу за которое и отдавались они со свойственным им энтузиазмом и пылом молодости.

В те далекие годы участникам партийных и комсомольских съездов и конференций в Минске приходилось иногда слушать выступления представителей Коммунистической партии Западной Белоруссии или западнобелорусских комсомольцев. Происходили невидимые — в самом буквальном смысле — встречи с представителями западнобелорусского подполья. Обычно сохранялся при этом определенный ритуал. Из президиума объявляли:

— Сейчас выступит представитель КПЗБ!

Выключался свет. Наступала такая тишина, что казалось, ты слышишь, как стучит сердце твоего соседа да со сцены доносятся звуки приглушенных шагов — оратор шел к трибуне. Слушали, жадно ловили каждое слово, прислушивались к интонации, к самой манере говорить, бурно реагировали на каждое меткое слово, меткую мысль. Как хотелось всем увидеть своими собственными глазами выступающего, физически по-

чувствовать его живой облик. А уже заканчивалось выступление. Гремели такие аплодисменты, что жалобно звенели и брехали стекла окон и стеклянные подвески на невидимых в темноте люстрах. Проходила минута, другая, третья... Как будто неожиданно вспыхивал свет, и тяжелый вздох прокатывался по всему залу: трибуна была пустая, за ней никто уже не стоял... В самом вздохе было что-то похожее на разочарование. Но все понимали: так и должно быть. Революционная борьба есть борьба — суровая, жестокая, беспощадная. Подпольная борьба требует самой точной конспирации. Некоторые из тех горослов, что раздавались в затемненных залах съездов, конференций и пленумов, казались мне весьма и весьма знакомыми: там иногда выступали и слушатели школы подпольщиков. Во время праздничных демонстраций отдельные их группы можно было увидеть на трибунах: они считали счастьем побывать на празднике хотя бы недолгое время в окружении советских людей, посмотреть, как проводят они свои революционные праздники, приобщиться к их радости и веселью.

Разумеется, я не имел никакого отношения к практическим делам западнобелорусских подпольщиков, которые учились в школе. Я только знакомил их с литературой: русской и белорусской. Если по известным причинам не знал их настоящих имен и фамилий, то и они ничего не знали ни о моей профессии, ни о настоящей фамилии. Для них я также был носителем определенной клички. Однажды оказался я в довольно-таки интересном положении, когда мои уважаемые слушатели почти полностью меня расконспирировали, и мне пришлось энергично доказывать им, что я — не я, что некоторые их суждения относительно моей личности не имеют никаких оснований. Это было в 1934 году, после первого Всесоюзного съезда писателей. Я участвовал в этом съезде, выступал на нем с небольшим докладом. Когда я вновь появился в школе, мои слушатели сразу же спросили:

— Были в Москве?

Я машинально ответил, что был.

— На писательском съезде?

Поняв, куда клонится дело, я категорически возразил:

— Съезд — дело писателей, какое же я имею к ним отношение? В Москве я был по служебным делам.

Мои слушатели многозначительно переглянулись, некоторые улыбнулись. Кое-кто вновь спросил:

— В газетах много пишут о съезде. Читали?

— Ну конечно...

Завязался оживленный разговор о съезде, о литературе, об отдельных писателях, об Алексее Максимовиче Горьком. Но чувствовалось, однако, что слушатели ожидают чего-то более интересного, обстоятельного, конкретного.

— А мы думали... — вырвалось невольно у одного из слушателей.

— Что вы думали?

— Что вы расскажете, как белорусские писатели были в гостях у Горького во время съезда. Вот и газеты пишут об этом.

— О том, что пишут газеты, и я могу рассказать вам... — отдался я шуткой. Однако сказал еще, что могу рассказать о съезде и более подробно, чем опубликовано в газетах, потому что о съезде мне многое рассказывали мои знакомые в Москве.

Тут мне вежливо поднесли не то «Правду», не то «Известия». На развернутой странице среди нескольких снимков писателей увидел я снимок и моей личности и рядом сокращенный текст моего выступления на съезде. Показывая этот снимок и хитро прищурившись, спросил меня Янка:

— А скажите, вы знаете писателя Лынькова?

— Знаю.

— Знакомы с ним?

— Немного знаком.

— И произведения его знаете?

— Кое-что знаю.

— И нас можете познакомить с ними?

— Это дело не хитрое, можно при случае и познакомить...

С минуту молчали. Потом некоторые рассмеялись и тут же оборвали смех, считая, видимо, что это не совсем тактично, что ничего здесь смешного нет. И сразу же нашли выход из неудобного положения. Кажется, тот же Янка высказал общее удивление:

— Знаете, вы же так похожи на писателя Лынькова, так похожи, как будто вас самого снимали для газеты.

Мне осталось только согласиться:

— Действительно, сходство большое. В жизни всякое случается. Вы же, видимо, слышали, что бывают иногда и двойники.

Конечно, товарищи «слышали»... Я понимал, что эти парни и девушки не только остались при своем мнении, но они и убеждены в нем. Что ни говори, а «улики» в моей принадлежности к писательской «братии» были неопровержимыми и бесспорными. Одним словом, почти полная расконспирация. Но никто не настаивал на своем мнении, потому что это мешало

*С полным текстом документа можно
ознакомиться в библиотеке*